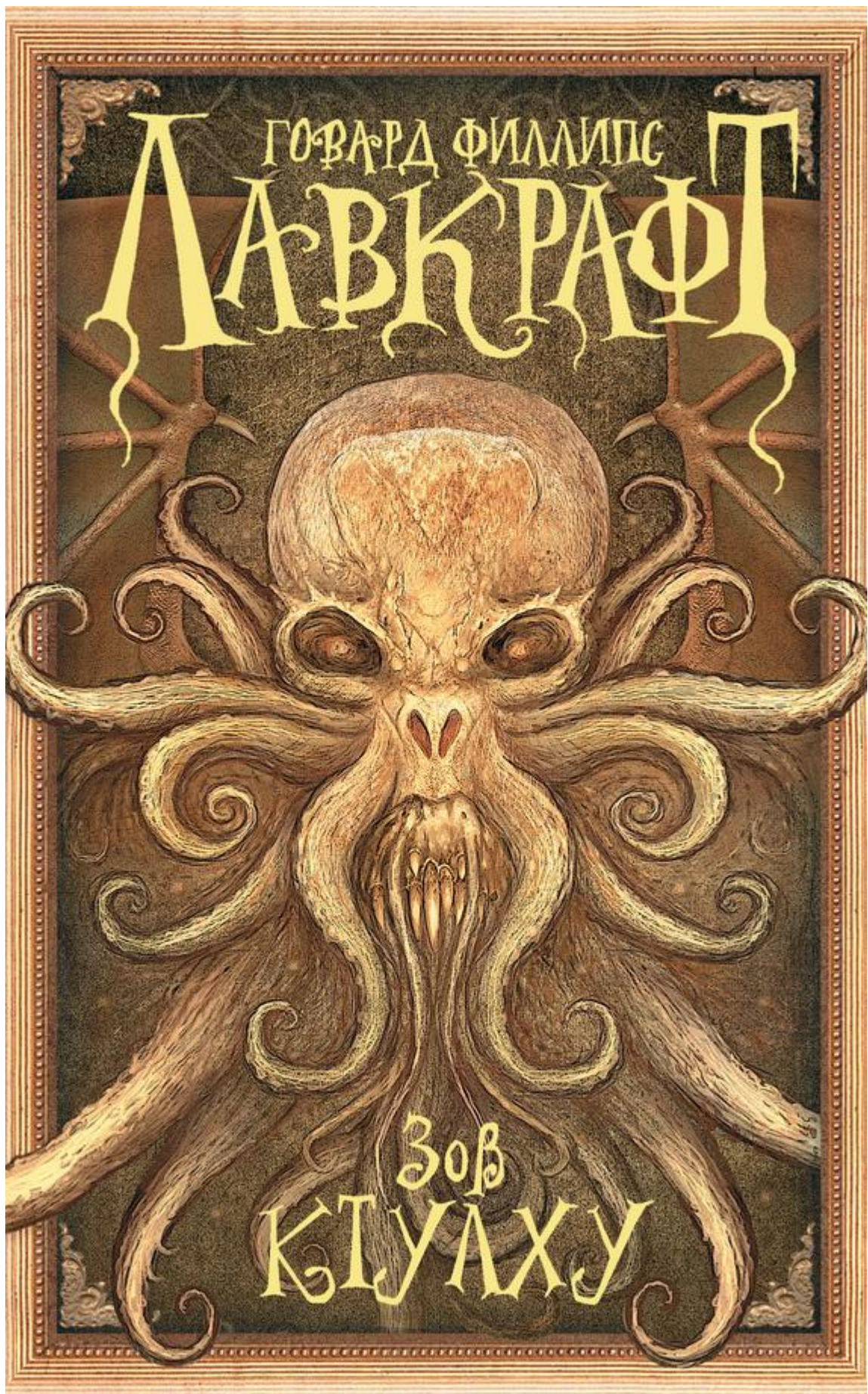


**Говард Лавкрафт
Зов Ктулху (сборник)**

Мифы Ктулху –

Мифы Ктулху –



«Зов Ктулху»: Издательство АСТ; М.; 2016
ISBN 978-5-17-094610-5

Аннотация

При жизни этот писатель не опубликовал ни одной книги, после смерти став кумиром как массового читателя, так и искушенного эстета и неиссякаемым источником вдохновения для кино- и игровой индустрии; его называли «Эдгаром По XX века», гениальным безумцем и адептом тайных знаний; его творчество уникально настолько, что потребовало выделения в отдельный поджанр; им восхищались Роберт Говард и Клайв Баркер, Хорхе Луис Борхес и Айрис Мёрдок.

Один из самых влиятельных мифотворцев современности, человек, оказавший влияние не только на литературу, но и на массовую культуру в целом, создатель «Некрономикона» и «Мифов Ктулху» – Говард Филлипс Лавкрафт.

Больше интересных фактов об этой книге читайте в [ЛитРес: Журнале](https://journal.litres.ru/genij-zatvornik-i-vekovaya-slava-kak-govardu-fillipsu-lavkraftu-udalos-stat-kulturnym-fenomenom/)

Говард Филлипс Лавкрафт Зов Ктулху

© Д. Афиногенов; О. Колесников;
© Ю. Соколов; Е. Любимова, наследники,
© перевод на русский язык
© ООО «Издательство АСТ», 2016



Дагон

Я пишу эти слова в состоянии понятного умственного напряжения, ибо сегодня вечером меня не будет в живых. Оставшийся без гроша, и даже без крохи зелья, которое одно делает мою жизнь терпимой, я не могу более переносить это мучение и скоро выброшусь из чердачного окна на нищую мостовую. И если я раб морфия, не надо считать меня слабаком или дегенератом. Прочитав эти торопливо набросанные строки, вы можете

догадаться, хотя, наверное, никогда полностью не поймете, почему я добиваюсь забвения или смерти.

Случилось, что посреди одной из наиболее открытых и редко посещаемых частей широкого Тихого океана пакетбот, на котором я был суперкарго, пал жертвой германского рейдера. Великая война была тогда в самом начале, и океанский флот гуннов еще не успел достичь тех глубин падения, к которым ему суждено было опуститься потом; поэтому наше судно было объявлено законным призом, а к экипажу отнеслись с теми справедливостью и вниманием, которых требовало наше положение военнопленных. Победители установили на борту настолько либеральные порядки, что через пять дней после захвата я сумел ускользнуть в небольшой шлюпочке, захватив с собой достаточное количество воды и провизии.

Оказавшись наконец на воде и в полной свободе, я не имел особо точного представления о том, где нахожусь. Не будучи компетентным навигатором, я мог только догадываться по солнцу и звездам, что нахожусь к югу от экватора. Долгота известна мне не была, а островов или берегов вблизи не было видно. Погода была ясной, и несчетные дни я бесцельно дрейфовал под обжигающим солнцем, ожидая, пока меня подберет проходящий корабль либо прибьет к берегам какой-нибудь населенной земли. Однако не появлялось ни корабля, ни земли, и я уже начал отчаиваться, оставаясь в уединении на неторопливо вздыхающем синем просторе.

Перемена произошла, пока я спал. Подробности ее так и остались неизвестными для меня, ибо мой сон, хотя и тревожный и полный сновидений, так и не прервался.

Когда я наконец пробудился, оказалось что меня засасывает в адски черную, полную слизи лужу, монотонно колыхавшуюся во все стороны от меня, куда достигал взгляд, а лодка моя лежала на ней как на суше неподалеку.

Хотя можно подумать, что моим первым ощущением при виде столь неожиданного и огромного преобразования окрестностей должно было стать удивление, на самом деле я скорее пребывал в ужасе, чем был удивлен, ибо в воздухе и в гнилой почве присутствовало нечто зловещее, пробравшее меня до глубины души. Вокруг валялись гниющие мертвые рыбины, а посреди отвратительной грязи бесконечной равнины торчали и менее понятные останки. Возможно, не стоит и пытаться передать простыми словами ту неизреченную мерзость, которая обитала в этом абсолютно безмолвном и бесплодном просторе. Слух не улавливал звуков, а зрение – ничего иного, кроме бесконечной черной грязи со всех сторон; и все же сама полнота тишины и однородность ландшафта вселяли в меня тошнотворный страх.

Солнце пылало на небесах, уже казавшихся мне черными в своей безоблачной жестокости и словно бы отражавшихся в чернильной болотине под ногами. Перебравшись в оказавшуюся как бы на суше лодку, я подумал, что положение мое способна объяснить лишь одна теория. Какой-то беспрецедентный вулканический выброс вынес на поверхность часть океанского дна, обнажив область его, которая в течение бесчисленных миллионов лет оставалась скрытой в неизмеримых водяных глубинах. И настолько велика была сия поднявшаяся подо мной земля, что, усердно напрягая слух, я никак не мог уловить даже слабого отзвука доносящихся издали рокоющих океанских волн. Не было видно и чаек, охотящихся за мертвечиной.

Несколько часов я сидел в лодке, лежавшей на боку и дающей некоторую тень по мере того, как солнце ползло по небу. С течением времени почва потеряла долю своей липкости и достаточно подсохла, чтобы по ней можно было пройти. В ту ночь я спал немного, и на следующий день приготовил себе поклажу из пищи и воды, собираясь в сухопутное путешествие в поисках исчезнувшего моря и возможного спасения.

На третье утро я обнаружил, что почва высохла настолько, что по ней можно идти без труда. От рыбной вони можно было сойти с ума; но я был озабочен вещами куда более серьезными, чтобы обращать внимание на столь мелкое зло, и потому отправился к неведомой цели. Весь день я упорно шагал на запад, в сторону пригорка, казавшегося выше

прочих на гладкой равнине. Ночь я провел под открытым небом, а на следующий день все еще шел в сторону пригорка, и цель моего пути едва ли казалась ближе, чем когда я впервые заметил ее. На четвертый вечер я приблизился к основанию холма, оказавшегося много выше, чем это казалось мне издали, и отделявшая меня от него долина еще резче выделяла бугор на ровной поверхности. Слишком усталый для восхождения, я задремал в тени его.

Не знаю, почему сны мои в ту ночь оказались настолько бурными; но прежде чем фантастический лик убывающей горбатой луны восстал над восточной равниной, я пробудился в холодном поту, решив не смыкать более глаз. Тех видений, что я только что пережил, было для меня довольно. И в свете луны я понял, насколько неразумным было мое решение путешествовать днем.

Без обжигающих лучей солнца путь не стоил бы мне таких затрат энергии; в самом деле, я уже чувствовал в себе достаточно сил, чтобы решиться на устрашавший меня на закате подъем. Подобрал пожитки, я направился к гребню возвышенности.

Я уже говорил о том, что ничем не прерывавшаяся гладь монотонной равнины вселяла в меня непонятный ужас; однако кошмар этот сделался еще более тяжким, когда, поднявшись на вершину холма, я увидел по ту сторону его неизмеримую пропасть, каньон, в чьи темные недра не могли проникнуть лучи еще невысоко поднявшейся луны. Мне казалось, что я очутился на самом краю мира, что заглядываю за край бездонного хаоса и вечной ночи. В ужасе припоминал я уместные строки «Потерянного рая»¹, повествующие о жутком подъеме Сатаны через бесформенные области тьмы.

Когда луна поднялась на небе повыше, я увидел, что склоны долины оказались не столь отвесными, как мне только что привиделось. Карнизы и выступы скал предоставляли достаточную опору для ног, и когда я спустился на несколько сотен футов, обрыв превратился в весьма пологий откос. Повинуясь порыву, истоки которого я положительно не могу определить, я не без труда спустился с камней на ровный склон под ними, заглядывая в стигийские бездны, куда еще не проникал свет.

И тут вдруг мое внимание приковал к себе громадный и одинокий объект, круто выраставший на противоположном склоне передо мной; объект, блеснувший белым светом под только что нисшедшими к нему лучами восходящей луны. Я скоро уверил себя в том, что вижу всего лишь громадный камень, но при этом осознал, что очертания и положение его едва ли были делом рук одной только Природы. Более близкое исследование наполнило меня ощущениями, которые невозможно выразить; ибо несмотря на огромный размер и положение в пропасти, разверзшейся на дне моря в те времена, когда мир был еще молод, я без доли сомнения понимал, что вижу перед собой обработанный монолит, над боками которого потрудились руки мастеров; камень, быть может, знавший поклонение живых и разумных существ.

Потрясенный и испуганный, и все же на самую каплю наполненный восторгом исследователя-археолога, я огляделся уже повнимательнее. Призрачный свет луны, теперь стоявшей почти в зените, падал на крутые стены, заключавшие между собой пропасть, открывая тот факт, что по дну ее в обе стороны от моих ног, едва не касаясь их, простирался широкий водоем. На той стороне пропасти мелкие волны омывали подножие циклопического монумента, на поверхности которого я теперь мог различить надписи и примитивные скульптурки. Письмена были выполнены неизвестными мне иероглифами, непохожими на все, что случалось мне видеть в книгах; в основном они изображали некие обобщенные символы моря: рыб, угрей, осьминогов, ракообразных, моллюсков, китов и тому подобное. Несколько знаков, очевидно, изображали неизвестных современному человеку морских тварей, чьи разлагающиеся тела видел я на поднявшейся из океана равнине.

Однако более всего меня заворожили высеченные на камне рисунки. Ясно видимые за

¹ Эпическая поэма Джона Мильтона, впервые изданная в 1667 году в десяти книгах, описывающая белым стихом историю первого человека – Адама.

разделявшим нас водоемом благодаря свое колоссальной величине, располагались барельефы, темы которых были способны породить зависть Доре². Думается, что эти фигуры должны были изобразить людей – во всяком случае, некую разновидность людей; хотя существа эти были изображены резвящимися как рыбы в водах какого-то морского грота или же поклоняющимися какому-то монолиту, также как будто бы находившемуся под волнами. О лицах и очертаниях их не стану рассказывать, ибо меня мутит от одного воспоминания. Гротескные силуэты, превышающие возможности воображения Эдгара По или Бульвер-Литтона, мерзостно напоминали людей, невзирая на перепонки на руках и ногах, неприятно широкие и дряблые губы, стеклянистые выпуклые глаза и прочие черты, еще менее приятные для памяти. Забавно, однако, что они были изображены без соблюдения пропорций с их окружением, ибо одно из созданий на рельефе убивало кита, изображенного всего лишь чуть более крупным, чем эта самая тварь. Отметив, как я уже сказал, гротескный облик и странную величину этих существ, я немедленно решил, что вижу перед собой воображаемых богов племени неких примитивных рыболовов и мореходов, принадлежавших к племени, последний потомок которого сгинул за эры до появления на свет первого из предков пилтдаунского или неандертальского человека. Потрясенный неожиданным откровением, выходящим за рамки воображения самого отважного из антропологов, я стоял, размышляя, а луна рассыпала странные отблески на воды лежавшего предо мной безмолвного протока.

И тут я внезапно увидел – это. Оставив лишь легкое кружение на воде, тварь поднялась над темными водами. Огромная, как Полифем, и мерзкая, явившимся из кошмара чудовищем она ринулась к монолиту, обхватила его гигантскими чешуйчатыми руками и, склонив к камню жуткую голову, принялась издавать какие-то размеренные звуки. Тут я и расстался с рассудком.

Я мало что помню о своем отчаянном подъеме по склону и по утесу, и о прошедшем в лихорадочном возбуждении возвращении к оставленной шлюпке. Кажется, я много пел, а когда не мог петь, хохотал, как безумный. Смутно помню великий шторм, разразившийся через некоторое время после того, как я добрался до лодки; во всяком случае, точно знаю, что слышал громовые раскаты и прочие звуки, которые Природа производит лишь пребывая в самом бурном настроении.

Выбрался я из забвенья только в госпитале – в Сан-Франциско, – куда меня доставил капитан американского корабля, обнаруживший мое суденышко посреди моря-океана. Пребывая в болезненном возбуждении, я говорил много, однако понял, что на мои слова никто не обращает внимания. Спасители мои слухом не слышали о том, чтобы в Тихом океане понималась со дна какая-то суша, да и сам я не считал необходимым настаивать на факте, в который они просто не могли поверить. После я разыскал прославленного этнолога и изумил его странными вопросами, касающимися древней филистимской легенды о Дагоне, Боге-Рыбе; но вскоре, поняв, что собеседник мой безнадежно банален, не стал рассказывать о своем открытии.

Именно ночью, особенно когда горбатая луна убывает, я вижу эту тварь. Я пробовал морфий; увы, наркотик дарует лишь временное облегчение, но тем не менее он уже сделал меня своим безнадежным рабом. И теперь я намереваюсь покончить с этим, оставив полный отчет для информации или пренебрежи увеселения своих собратьев-людей. Часто я спрашиваю себя о том, не было ли это событие чистым фантазмом... болезненным видением, порожденным лихорадкой, пока я лежал в забытии, рожденным солнечным ударом и бредом в открытой лодке после бегства с немецкого военного корабля. Так я спрашиваю себя, однако ответом на вопрос всегда является отвратительное и яркое видение. Я не могу представить себе открытого моря, не пожившись при мысли о тех безымянных тварях, которые в этот самый момент могут ползать и рыться на его илистом дне, почитая своих

² Доре Гюстав (1832–1883) – французский гравер, иллюстратор и живописец.

древних каменных идолов и высекая собственные отвратительные подобию на подводных обелисках из омытого водой гранита. И мне все мнится тот день, когда они восстанут над прибрежными бурунами, чтобы унести в своих вонючих когтях остатки ничтожного, утомленного войной человечества, – тот день, когда потонет суша, а мрачное океанское дно восстанет посреди вселенского пандемониума.

Конец близок. Я слышу шум возле двери, какое-то склизкое тело всей своей тушей наваливается на него. Тварь отыщет меня. Боже, какая ручища! Окно! Окно!

1919

Безымянный город

Я знал, что над безымянным городом, к которому я приближался, тяготеет проклятие. Я ехал по выжженной, залитой лунным светом долине и уже различал вдалеке очертания городских строений, что выступали из песка, словно трупы из плохо засыпанных могил. Искошившиеся от времени камни этого пережитка прошлого, прадеда древнейших пирамид, как будто источали страх. Ужас, встававший у меня на пути невидимой преградой, замедлял поступь моего верблюда; мне казалось, некто убеждает меня отступить, не доискиваться зловещих тайн, которые не открывались никому и никогда.

Безымянный город располагался в самом сердце Аравийской пустыни, его полуразрушенные стены были теперь немногим выше песчаных дюн. Он погиб еще до того, как были заложены первые камни Мемфиса или обожжены первые кирпичи Вавилона. Не существует предания столь древнего, что могло бы поведать о его названии или о той поре, когда в нем кипела жизнь. Однако слухи об этом городе передаются шепотом из уст в уста у костров простолюдинов и в шатрах шейхов, и кочевники сторонятся его, не зная сами почему. Именно о нем безумный поэт Абдула Альхазред грезил той ночью, когда сложил свой исполненный темного смысла стих:

*Над чем не властен тлен, то не мертво,
Смерть ожидает смерть, верней всего.*

Мне следовало бы знать, что у арабов есть веские основания обходить безымянный город стороной. О, этот город, породивший множество легенд! Никто из людей не может похвалиться тем, что видел его воочию. Да, мне следовало бы послушать арабов, однако я пренебрег их советами и, оседлав верблюда, отправился в пустыню. И добился своего: я единственный зрел безымянный город, и оттого на лице моем навеки запечатлелся страх, оттого я вздрагиваю, когда по ночам хлопает ставнями ветер. Я набрел на него, застывшего в ненарушимой тишине бесконечного сна; он явился мне в холодных лучах луны среди пышущей жаром пустыни. Глядя на него, я понял: моя радость от того, что поиски увенчались успехом, куда-то улетучилась; я расседлал верблюда и решил дожидаться рассвета.

Час проходил за часом. Наконец небо на востоке посерело, звезды померкли в свечении розовой полосы с золотой каймой. И тут я услышал стон. Должно быть, несмотря на то, что небосвод был чистым, а в воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения, мне угрожала опасность быть застигнутым песчаной бурей. Внезапно над дальним краем пустыни возникла ослепительная кромка солнечного диска. На какое-то мгновение его заволокло взвихренным песком, и мне, в моем смятенном состоянии, почудилось, будто из неведомых глубин донесся мелодичный звон. Он словно приветствовал светило, подобно Мемнону на нильских берегах. Кое-как обуздав разыгравшееся воображение, я повел верблюда к городу, который не видел никто, кроме меня.

Я долго бродил по развалинам, не находя ни изваяний, ни надписей, которые

рассказали бы мне о тех людях – людях ли? – что построили в незапамятные годы этот город и жили в нем. В самой древности места было нечто нездоровое, и мне хотелось отыскать хотя бы одно свидетельство того, что этот город – творение человеческих рук. Его руины отличались такими пропорциями и размерами, что показались мне поистине странными, если не сказать больше. Я прихватил с собой кое-какой инструмент, а потому принялся за раскопки внутри обвалившихся зданий. На первых порах ничего интересного мне не попадалось. Потом, вместе с лунной ночью, возвратился холодный ветер; он принес с собой страх, и я не осмелился остаться на ночевку в пределах городских стен. Только я пересек незримую границу, за моей спиной взвился и пронесся по серым камням смерч, который взялся неизвестно откуда – ведь на небе ярко светила луна, а пустыня хранила величественный покой.

Проснулся я на рассвете и с немалым облегчением, ибо ночь напролет меня донимали кошмары. В голове моей звучал металлический звон. Над безмянным городом бушевала песчаная буря, сквозь пелену которой виднелось багровое солнце, но вокруг все было по-прежнему тихо и спокойно. Выждав, пока она утихомирится, я вновь устремился к обломкам седой старины, что едва проступали из-под песка, укрывавшего их исполинским ковром, и потратил все утро на бесплодные поиски реликвий древнего народа. В полдень я передохнул, а после долго ходил по засыпанным улицам и пробирался вдоль крепостных стен, нанося на карту местонахождение почти исчезнувших строений. Я установил, что город и впрямь был когда-то велик, восхитился его былым могуществом и попробовал вообразить себе чудеса, которых он был полон в минувшие дни и которых не застала даже Халдея. Мне почему-то вспомнился обреченный Сарнат, гордость человечества и столица края Мнар, я подумал о вырубленном из серого камня Ибе, который существовал за много тысячелетий до появления на свете людей.

Совершенно неожиданно для себя я вышел к выступавшей из-под песка скале. Меня охватил восторг, ибо я наконец-то увидел то, что предвещало, как мне хотелось верить, обнаружение следов, оставленных загадочными жителями города. В скале имелось отверстие – наверно, то был вход в храм, где скрываются тайны эпохи, слишком от нас далекой, чтобы мы могли назвать ее по имени. Скорее всего, на поверхности невысокого утеса высечены были буквы или фигуры, однако песчаные бури потрудились на славу: камень на ощупь был ровным и гладким.

Рядом виднелись и другие отверстия, но я остановил свой выбор на том, какое попало мне на глаза первым. Раскидав лопатой песок у входа и прихватив с собой факел, я заполз в мрачный ход, который вывел меня в пещеру, очевидно служившую когда-то храмом и содержащую предметы, что принадлежали, по-видимому, тем, кто молился тут еще до того, как пустыня стала пустыней. Я различил примитивные алтари, колонны, странно невысокие ниши, многочисленные камни, чья причудливая форма свидетельствовала о том, что их касался инструмент каменотеса, но не заметил ни фресок, ни статуй. Своды пещеры были весьма низкими – я едва мог выпрямиться, даже стоя на коленях, – однако стены отстояли друг от друга на столь значительное расстояние, что свет моего факела выхватывал из мрака лишь крохотную часть скалистого грота. Продолжая осматриваться, я невольно вздрогнул: некоторые алтари своим видом наводили на мысль об ужасных, неопишуемых древних обрядах и вынуждали задуматься над тем, какие же существа приходили некогда молиться в этот храм. Удовлетворив любопытство, я выбрался наружу; мне хотелось до наступления темноты заглянуть в соседние отверстия.

Над руинами уже сгущались сумерки, однако, будучи человеком любознательным, тем более мое воображение было подстегнуто открытием храма в скале, – я переборол страх и не стал убегать от длинных лунных теней, которые так напугали меня накануне. Расчистив другой вход, я взял новый факел и заполз туда. Внутри я нашел камни и алтари, как две капли воды схожие с теми, какие находились в первой пещере. Своды этой были такими же низкими, однако остальными размерами она сильно уступала гроту, с которого я начал осмотр, и заканчивалась узким коридором: вдоль стен его выстроились во множестве

загадочные ковчеги. Едва я приблизился к ним, мое внимание привлёк донесшийся снаружи звук, в котором я узнал крик своего верблюда; животное словно звало на помощь, и я поспешил к нему, гадая, что могло вселить в него страх.

На небе сияла луна, заливая призрачным светом руины, над которыми висела густая пелена песка, поднятого в воздух резким, но, судя по всему, постепенно стихающим ветром. Я догадался, что именно порывы ветра и обеспокоили верблюда, и собирался уже отвести животное в укрытие понадежнее, когда мой взгляд отметил некую маленькую несообразность в окружавшем меня пейзаже: на вершине утеса, у которого я стоял, ветра как будто не было. Я изумился и где-то даже испугался, но тотчас припомнил те ветры, что буйствовали над городом на рассвете и на закате, и решил, что подобное здесь в порядке вещей. Мне подумалось, что диковинный ветер вырывается, должно быть, из какой-нибудь трещины в скале, и я направился на ее поиски, ориентируясь по свеженаметенному песчаному гребню. Вскоре я разглядел впереди черный зев отверстия – наверно, проход в еще один храм. Отворачивая лицо от так и норовящего попасть в глаза песка, я подошел поближе. В глубине отверстия виднелись очертания полуприсыпанной двери. Я попробовал было открыть ее, но ледяной ветер, что дул из щели под нею, чуть было не загасил мой факел. Завывая и постанывая, вихрь ворошил песок и швырял его во все стороны. Через какое-то время напор ветра ослабел, песчаная пелена мало-помалу развеялась и все успокоилось. Тем не менее мне чудилось, будто по древнему городу разгуливает призрак минувших дней, будто луна вдруг подернулась рябью, словно была собственным отражением в неких бурливых водах. Мне было страшно, однако не настолько, чтобы я забыл о своей жажде чудесного. И, стоило лишь ветру улечься окончательно, я проник за ту дверь, из-под которой он рвался на волю.

Я очутился в очередном храме, который, впрочем, был обширнее любого из тех, в каких я успел побывать раньше, и являлся, похоже, – ибо как раз в нем томился взаперти подземный вихрь – естественной пещерой. Оказавшись внутри, я без труда выпрямился в полный рост, но алтари здесь были ничуть не выше, чем в прочих храмах, стены и потолок пещеры наконец-то явили моему взору образцы живописи тех, кто населял когда-то безымянный город. Я различил причудливые ломаные линии; краски, которыми нанесены были изображения, поблекли от времени, а кое-где попросту исчезли заодно с обратившимся в крошево камнем. На двух алтарях я разглядел затейливую, искусную резьбу. Меня переполнял восторг. Я поднял факел над головой и взглянул на потолок: мне показалось, он слишком уж ровный, чтобы быть естественным образованием. Неужели и к нему приложили резцы древние каменотесы? Если так, то они, надо признать, обладали солидным инженерным опытом.

Внезапно пламя факела сделалось ярче, и в его свете я увидел то, что разыскивал, – отверстие колодца, который уходил в бездну, откуда дул ледяной ветер. Когда я присмотрелся к нему, мне стало нехорошо, ибо оно было явно искусственного происхождения. Опустив в него факел, я разглядел круто уводивший вниз коридор со множеством крохотных каменных ступенек. Эти ступени будут мне сниться до конца моих дней, ибо теперь я знаю, куда они ведут. Они были столь крохотными, что поначалу я принял их за простые зарубки в стене колодца для облегчения спуска. Меня одолевали безумные мысли, предостережения арабских пророков вновь зазвучали в моем мозгу, их слова как будто долетели до меня через пустыню из тех земель, где обитают люди, которые не смеют даже грезить о безымянном городе. Однако, помедлив всего лишь какой-то миг, я пробрался сквозь отверстие и поставил ногу на верхнюю ступеньку.

Спуск, подобный тому, который совершил я, может привидеться человеку разве что в снах, навеянных наркотиками, или в горячечном бреде. Факел, который я держал над головой, бесил был рассеять мрак, что царил в узком стволе колодца. Я потерял счет времени, я забыл про часы на руке, я испугался, подумав о расстоянии, которое уже преодолел. Крутизна колодца и его направление постоянно менялись; раз я очутился в протяженном коридоре с низким потолком и вынужден был ползти по каменному полу

ногами вперед, волоча за собой факел, ибо свод буквально нависал надо мной и я не мог даже встать на колени. Потом снова пошли ступени. Я по-прежнему карабкался по ним, когда мой факел погас. Не думаю, чтобы я тогда обратил на это внимание, поскольку, помнится, все еще держал его над головой, словно он продолжал гореть. По правде сказать, томление по загадочному и таинственному, которое превратило меня в скитальца и охотника за древними чудесами, порой сказывалось на моем рассудке.

Во мраке перед моим мысленным взором возникали драгоценности из моего собрания демонических знаний: отрывки из творения безумного араба Альхазреда, апокрифические кошмары Дамаскина, кощунственные строки бредового «*image du Monde*»³ Готье де Меца. Я бормотал их себе под нос, я припомнил Афрасиаба и бесов, что уволокли его вниз по Оксу, я произносил нараспев одну и ту же фразу из повести лорда Дансени: «...глухая тьма бездны». Когда же спуск сделался поистине умопомрачительно крутым, я принялся декламировать Томаса Мура:

*Вода чернела в глубине
Подобьем ведьминской отравы,
В которую кладутся травы,
Что полнолунием налиты.
Я наклонился над обрывом
И, в нетерпении своем,
Узрел такое с высоты:
На берегу, как слизи ком,
Трон Смерти высился кичливо,
Бросая тень на все кругом...*

Время полностью перестало для меня существовать, но тут мои ноги нащупали ровную поверхность, и я обнаружил, что нахожусь в пещере, немногим более высокой, нежели те два храма, которые остались где-то там, наверху. Стоять я все-таки пока не мог, зато мне удалось сесть на колени, и в этом положении я стал осматриваться. Пещера представляла собой узкий проход, заставленный деревянными сундуками с передней стенкой из стекла. Подивившись тому, как могли оказаться в подземелье полированное дерево и стекло, я зябко передернул плечами. Сундуки располагались вдоль стен, на равном удалении друг от друга, они были прямоугольными, слегка вытянутыми в длину и до отвращения походили своими размерами и формой на гробы. Попытавшись сдвинуть парочку из них с места, я выяснил, что они надежно закреплены.

Проход уходил дальше во тьму, и я, присев на корточки, заковылял по нему «гусиным шагом». Наблюдай кто-нибудь за мной со стороны, моя походка наверняка привела бы его в ужас. Я наклонялся то вправо, то влево, чтобы убедиться, что сундуки – а следовательно, и стены – по-прежнему сопровождают меня. Человек настолько привык мыслить образами, что я почти забыл о темноте и рисовал в воображении бесконечный коридор из дерева и стекла таким, каким мне хотелось его видеть. И тут, на единый, потрясающий миг, я увидел его в действительности.

Я не могу точно определить момент, в который фантазия слилась с реальностью. Впереди неожиданно замерцал свет. Я понял, что различаю свод над головой; неведомое подземное свечение выхватывало из мрака черные прямоугольники сундуков. Некоторое время все было так, как я себе воображал, поскольку свет сочился из скрытого источника прямо-таки по капле. Но, приближаясь к нему, я постепенно начал сознавать, что моему воображению недоставало размаха. Эта пещера разительно отличалась от грубых храмов безымянного города, она была настоящим памятником великого и совершенно необычного

³ «Образ мира» (фр.).

искусства. До невероятия правдоподобные, поражающие своей фантастичностью изображения и узоры на стенах создавали цельную картину, буйство красок которой невозможно передать словами. Древесина сундуков была странного золотистого цвета, а из-за стеклянных перегородок таращились на меня мумии существ, чье уродство не поддавалось никакому описанию.

В видовом отношении они принадлежали к рептилиям, в них было что-то то ли от крокодила, то ли от тюленя; в общем, такое наверняка не снилось ни одному натуралисту или палеонтологу. Они были примерно по плечу рослому человеку, их передние лапы заканчивались удивительно похожими на человеческие ладонями. Но диковиннее всего были их головы, вид которых сокрушал всякие понятия о биологических принципах. Их не с чем было сравнить; впрочем, я одновременно подумал о кошке, бульдоге, мифическом сатире и потомке Адама. У самого Юпитера не было столь огромного, выдающегося лба; рога, отсутствие носа и крокодильи пасть помещали этих существ в разряд неизвестных науке. Я засомневался было в подлинности мумий, подозревая, что они – всего лишь жалкие куклы, но потом пришел к выводу, что вижу перед собой истинных палеолитных тварей, населявших когда-то безымянный город. Словно для того, чтобы лишний раз подчеркнуть их безобразие, они в большинстве своем были облачены в роскошные одеяния с украшениями из золота, самоцветов и каких-то неведомых сверкающих металлов.

Должно быть, эти ползучие бестии при жизни были важными персонами – на покрытых фресками стенах и потолке им отведено было главное место. Безвестный художник с неподражаемым мастерством изобразил их мир, в котором у них были города и сады под стать их размерам. У меня вдруг мелькнула шальная мысль: а что, если живописная история аллегорична и повествует на деле о развитии того народа, который чтил рептилий как богов? Быть может, они были для жителей безымянного города тем же, чем волчица для Рима и тотемное животное – для какого-нибудь индейского племени.

Исходя из такого предположения, я принялся изучать фрески – эпос безымянного города, легенду о могучей морской метрополии, что владычествовала над миром задолго до того, как поднялась из океанских вод Африка. Я узнал о том, как она сражалась за выживание; ведь море отступало, а пустыня подбиралась все ближе к плодородной долине, в которой она стояла; о войнах и победах, горестях и поражениях, о той поре, когда тысячам горожан, иносказательно представленных на рисунках в образе гротескных рептилий, пришлось прорубать сквозь скалы путь в земные недра – к новому миру, о котором вещали им пророки. Фрески были выполнены в весьма натуралистичной манере. Кстати сказать, на них был показан тот колодец, по которому я недавно спускался, прорисованный во всех подробностях: наличествовали даже боковые ответвления.

Пробираясь по коридору в направлении источника света, я не сводил взгляда с вереницы картин, что рассказывали об исходе народа, жившего в безымянном городе и его окрестностях на протяжении десяти миллионов лет, народа, душа которого не принимала расставания с землей, что дала когда-то приют кочевникам, за какое благодеяние они не переставали возносить ей хвалы в своих молитвах, творимых в скальных храмах. По мере усиления света я мог изучать рисунки более тщательно; по-прежнему считая рептилий аллегорическими существами, я задумался об установлениях и обычаях жителей безымянного города. Многое было мне непонятно. Цивилизация, знакомая с письмом, достигла, по всей видимости, более высокого уровня развития, нежели древний Египет или Халдея, однако мне не попало еще на глаза ни единого изображения сцены смерти за исключением тех, что относились к гибели в бою и тому подобным вещам. Почему они избегали запечатлевать смерть от старости? Невольно складывалось впечатление, что их существование определял идеал – вернее, иллюзия – бессмертия.

Ближе к концу коридора все чаще стали встречаться необычайно живописные и причудливые фрески – противоречащие друг другу виды развалин безымянного города в пустыне и новой обители, к которой вела прорубленная в скалах дорога. Город и пустыня постоянно изображались залитыми лунным светом: руины окружены были золотистой

аурой, которая словно возрождала к жизни чудеса былого, столь мастерски переданные кистью художника, а пейзажи края обетованного были настолько хороши, что взгляд отказывался воспринимать их как правдивые; они рисовали непознанный мир, где царит вечный день, где много прекрасных городов, высоких холмов и плодородных долин. На последней же фреске я усмотрел, как мне показалось, вырождение творческого гения. Рисунок был куда менее завораживающим и гораздо более странным, чем самые безумные из всех предыдущих. Древняя раса, похоже, вымирала, одновременно возрастала ее ненависть к миру наверху, из которого ее изгнала пустыня. Фигуры людей – опять-таки в образе священных рептилий – постепенно уменьшались, хотя на развалинах города они почему-то обретали прежний облик. Изнуренные жрецы – рептилии в роскошных одеяниях – проклинали верхний мир и тех, кто дышит его воздухом. В довершение всего живописец поместил в углу сцену расправы существ древней расы над обыкновенным человеком, судя по его наружности – дикарем из вековечного Ярема, города-колоннады. Я припомнил страх арабов перед безымянным городом и порадовался тому, что дальше стены и потолок коридора свободны от каких бы то ни было изображений.

Увлечшись изучением этой истории в картинках, я незаметно для себя самого приблизился к воротам, из-за которых и проникало в пещеру подземное свечение. Я осторожно подобрался к ним вплотную – и не смог сдержать изумленного восклицания. Я ожидал увидеть обширную, полную света залу, а вместо нее моим глазам предстала безбрежная пучина бледного сияния. Впечатление было такое, будто я гляжу с вершины Эвереста на освещенный солнцем облачный покров. За моей спиной находился проход, в котором я не мог даже распрямиться во весь рост, а впереди расстилалось необозримое море облаков.

От конца коридора уводила в бездну крутая каменная лестница, ступени которой сильно напоминали те, по каким я спустился в подземелье. Через один или два пролета она терялась в мерцающей дымке. Дверь, преграждавшая доступ в коридор – массивная, бронзовая, чудовищно толстая, украшенная замысловатой резьбой, – была распахнута настежь. Закрытая, она, по-видимому, напрочь отделяла подземный мир света от колодцев и ходов в скале. Я поглядел на ступени и не сумел принудить себя встать на первую из них; я коснулся бронзовой двери – и не смог сдвинуть ее с места. Я опустился на каменный пол, голова моя шла кругом от лихорадочных мыслей, унять которые бессильно было даже мое утомленное состояние.

Лежа с зажмуренными глазами и пытаясь рассуждать здраво, я почему-то вспомнил фрески и заново переосмыслил то, что было на них изображено, – безымянный город в пору своего расцвета, плодородные земли вокруг, дальние края, до которых добирались его купцы. Аллегория с рептилиями озадачивала меня и сбивала с толку; я не переставал гадать, чем их наружность так расположила к себе неведомого древнего художника. На фресках безымянный город выглядел так, словно его строили именно для рептилий. Каковы же были его размеры в действительности? И тут мне на память пришли некоторые несоответствия, подмеченные мною в развалинах, то бишь необычно низкие своды пещерных храмов и пробитого в скалах коридора. Может статься, их вытесали такими из уважения к рептилиям, которых почитали как богов? Быть может, суть религиозных обрядов заключалась в ползании на животе в подражание божествам? Однако тотчас подумалось мне, что никакая религиозная теория не способна объяснить, почему потолки горизонтальных подземных проходов ничуть не выше потолков в храмах наверху – даже ниже, ведь, находясь под землей, я какое-то время не мог встать и на колени. При мысли о ползучих тварях, чьи мумии остались у меня за спиной, я вновь испытал страх. Рассудок порой приходит к поистине невероятным выводам: я содрогнулся, ибо неизвестно с чего решил вдруг, что я – второй в этом подземелье с его реликтами после того разорванного на куски дикаря.

Однако, как всегда и бывает, радостное изумление помогло мне совладать со страхом. Пучина являла собой загадку, достойную внимания величайших исследователей. Глубоко внизу, под облаками, лежал таинственный мир, к которому вела каменная лестница. Я

надеялся отыскать там людей, изображения которых мне так и не встретились на фресках коридора, хотя на них выписаны были величественные города и цветущие долины низинного мира. Разыгравшееся воображение манило к грандиозным руинам, которые, должно быть, поджидали меня у конца лестницы.

Страхи мои относились скорее к прошлому, нежели к будущему. Весь ужас моего положения – один, простертый на полу подземного коридора, полного мертвых рептилий и допотопных фресок, заплутавший в недрах планеты, наткнувшийся случайно на мерцающую бездну, – не шел ни в какое сравнение с леденящим душу трепетом, который охватывал меня, стоило мне взглянуть в бездонный провал. Со всех сторон меня окружала немыслимая древность; возраст каменных алтарей и прочих предметов попросту не поддавался исчислению, а на части стенных фресок изображены были давно исчезнувшие из человеческой памяти океаны и континенты – лишь изредка мне на глаза попадались смутно знакомые очертания. Теперь уже никто не расскажет, что случилось с пришедшей в упадок расой ненавистников смерти с той поры, как была написана последняя картина в коридоре. Да, прежде эти пещеры и переливчатая бездна исполнены были жизни, а ныне я оказался наедине с пережившими века реликвиями, что несли на протяжении тысячелетий неусыпный и никому не нужный дозор.

Внезапно на меня в очередной раз обрушился страх – признаться, он и не отпускал меня с того самого мгновения, когда я впервые узрел мертвую долину и залитый лунным светом безымянный город. Пересилив усталость, я кое-как сел и уставился на черный проход, что выводил к вертикальному колодцу с зарубками для рук и ног. Я испытывал чувство, которое было сродни тому что гнало меня под вечер прочь из развалин безымянного города, – необъяснимое, сосущее чувство. В следующий же миг я был буквально потрясен звуком, что нарушил могильную тишину подземного царства. Это был низкий и протяжный стон, какой, верно, издают проклятые духи, и исходил он оттуда, куда был устремлен мой взгляд. Он становился все громче, под сводом коридора загудело эхо, и я ощутил нарастающий напор холодного воздуха, который проникал сюда откуда-то сверху. Дуновение ветра благотворно повлияло на мое сознание, восстановив способность мыслить ясно и здраво, и я сразу же вспомнил те порывы, которые на рассвете и на закате взметали песок над руинами города; один из них привел меня ко входу в подземелье. Я посмотрел на часы и увидел, что приближается рассвет, а потому постарался вжаться в стену, чтобы ветер, который возвращался домой с ночной прогулки, не увлек меня за собой. Мой страх улегся, ибо природный феномен вряд ли имел что-либо общее с занимавшей меня загадкой.

Ветер задувал все сильнее, с воем отыскивая дорогу в низинный мир. Я вцепился в камень, опасаясь, что неудержимый поток воздуха швырнет меня в сверкающую бездну. По правде сказать, я никак не ожидал от ветра подобной ярости; чувствуя, что меня таки волочет к пропасти, я рисовал себе свое будущее в самых мрачных тонах. Злобствование вихря пробудило уснувшие было фантазии: я вновь принялся сравнивать себя с единственным человеком, побывавшим здесь раньше моего – с тем несчастным разорванным на куски дикарем, – ибо мне чудилось, я улавливаю в неистовстве ветра некое мстительное исступление; впрочем, в его буйстве ощущалось – до известной степени – осознание собственного бессилия. Кажется, в конце концов я закричал и был на грани безумия, но если и так, мои вопли заглушили душераздирающие стоны невидимых призраков, что мчались по коридору на крыльях вихря. Я попробовал ползти обратно, но скоро убедился в бесплодности своих усилий. Меня влекло к краю пропасти. Должно быть, рассудок мой не выдержал, ибо я начал бормотать себе под нос тот стих безумного араба Абдулы Альхазреда, который он сложил, грезя о безымянном городе:

*Чему не страшен тлен, то не мертво.
Смерть ожидает смерть, верней всего.*

Лишь мрачные боги пустыни знают, что произошло на самом деле, что было со мной в

темноте и кто вернул меня к жизни, до конца которой мне суждено содрогаться от воспоминаний, подступающих ко мне с первыми завываниями ночного ветра. Оно было чудовищным в своей громадности, это существо, настолько невообразимое, что верить в него можно только в те жуткие предрассветные часы, когда, как ни старайся, все равно не удастся заснуть.

Я упомянул уже о том, что ярость вихря была поистине демонической – вернее, бесовской – и что в вое его словно обрела голос неуголенная злоба низвергнутых божеств. Постепенно я будто бы стал различать отдельные осмысленные звуки. Снизу, из гробницы неизмеримо древних реликвий, что располагалась на дне кошмарной бездны, донеслись рычание и лай. Обернувшись, я увидел на фоне сверкающего облачного покрова то, чего нельзя было разглядеть в сумраке коридора: орду омерзительных демонов, разгневанных, причудливо одетых, наполовину прозрачных тварей, чей облик говорил сам за себя – ползучих рептилий безымянного города!

Ветер утих, и я погрузился в населенную призраками тьму земных недр. Огромная бронзовая дверь захлопнулась с оглушительным звоном, эхо которого устремилось в наружный мир, чтобы приветствовать солнце, как приветствует его с нильских берегов величавый Мемнон.

1921

Праздник

В ту пору я оказался далеко от дома. Меня не покидало очарование моря. В сумерках я слышал, как оно бьется о скалы, и знал наверняка, что море вон за тем холмом, на котором чернели в свете первых звезд причудливые силуэты ив. Я прибыл в древний город по зову предков и потому упрямо месил снежное крошево на дороге, что тянулась туда, где одиноко мерцал над деревьями Альдебаран, – в направлении старинного города, который я никогда не видел, но о котором так часто грезил.

Дело происходило в канун праздника, который люди именуют Рождеством, хотя в глубине души сознают, что он неизмеримо старше Вифлеема, Вавилона, Мемфиса и самого человечества. Да, в его канун добрался я наконец до старинного города у моря, где когда-то жили и справляли этот праздник мои предки... Они наказали нам блюсти родовой обычай: раз в сто лет мы должны были собираться на празднество и повторять друг другу слова древней мудрости. Мои предки прибыли сюда из южных краев, где цветут орхидеи; они говорили на чужом языке и лишь какое-то время спустя научились наречию голубоглазых рыбаков. С годами моя родня рассеялась по свету, объединяли нас теперь лишь семейные обряды и ритуалы, смысл которых был для постороннего непостижим.

С гребня холма я увидел Кингспорт, заиндеветый, заснеженный Кингспорт с его старинными флюгерами и шпилями, дымовыми трубами, пристанями и маленькими, будто игрушечными, мостиками; я различил кладбищенские ивы и величественную церковь, которой не посмело коснуться время. Мой взгляд заплутал в лабиринте узеньких улочек. Над выбеленными зимней стужей фронтонами и двускатными крышами парила на пыльных крыльях древность. В вечернем сумраке призывно светились фонари и окна, а в небе, окруженный вековыми звездами, сверкал Орион. В прогнившие доски причалов било море...

Поблизости от дороги возвышался еще один довольно-таки крутой холм. Приглядевшись, я понял, что на его вершине расположилось кладбище: черные надгробия выступали из-под снега призрачными когтями гигантского трупа. Дорога была пустынной, но иногда мне чудилось, будто я слышу негромкое поскрипывание – такое обычно издает виселица. К слову сказать, одного моего родича повесили где-то в окрестностях города за колдовство.

Дорога пошла под уклон. Я напряг слух, стараясь услышать отзвуки царящего в городе веселья, но все было тихо. Тут я вспомнил, какое на дворе время года, и решил, что местные жители могут праздновать Рождество по-своему – вдруг у них принято проводить праздничные вечера в молитвах у семейных очагов? Так что я бросил прислушиваться и поспешил вниз, мимо домиков, в окнах которых горел свет, мимо засыпанных снегом каменных стен, туда, где раскачивались на ветру вывески лавок и таверн, где мерцали в тусклом свечении, сочившемся в щели между оконными занавесками, диковинные молоточки на дверях.

Поскольку я предварительно изучил карту города, мне было известно наверняка, где стоит дом моих родственников. Я рассчитывал, что меня узнают и примут достаточно радушно – ведь в маленьких городках легенды живут долго. А потому я пересек единственную в Кингспорте мощеную улицу, прошел с тыльной стороны рынка и вышел в нужный мне переулок. Старые карты не подвели...

Из окон нужного мне дома, седьмого по счету на левой стороне улицы, пробивался свет. Верхний этаж нависал над узкой улочкой, едва ли не упираясь во фронтон дома напротив. Подойдя поближе, я словно очутился в пещере. На низком крылечке не было ни снежинки, к нему вела череда ступеней, дополненная железными поручнями. Общее впечатление было несколько странным; вдобавок я впервые попал в Новую Англию, а прежде ничего подобного мне видеть не доводилось. Сказать по правде, я бы чувствовал себя уверенней, если бы заметил хоть одного человека на городских улицах. Да и занавески на окнах, будем откровенны, не мешало бы раздернуть.

Притронувшись к архаичному дверному молотку, я испытал страх, которым был обязан отчасти собственным воспоминаниям, а отчасти – зимнему вечеру и неприветливой тишине, окутывавшей старый Кингспорт. Когда же на мой стук отозвались, я, признаться, струсил окончательно, ибо не слышал никаких шагов – дверь распахнулась словно сама собой. Но страх мой тотчас улегся, ибо в дверном проеме появился добродушного вида старик в халате и домашних шлепанцах. Пояснив жестом, что он – немой, старик начертил стилем на восковой дощечке, которую держал в руке, слова древнего приветствия.

Он провел меня в освещенную свечами комнату с низким потолком и скудной обстановкой. Для меня будто ожило прошлое, которое было тут полновластным хозяином. Неподалеку от очага стояла прялка, за которой пристроилась сутулая старушка в старинной шляпке. В комнате ощущалась сырость, и я подивился тому, что в очаге не горит огонь. Напротив вереницы занавешенных окон располагалась скамья, на которой, похоже, что-то лежало... Все окружавшее меня мне не нравилось, не внушало доверия, и в сердце мое снова закрался страх. Этот страх усиливало то, что раньше сумело его унять, ибо чем пристальнее вглядывался я в лицо старика, тем сильнее оно меня пугало. Глаза на нем словно застыли в неподвижности, а кожа уж чересчур смахивала на воск. В конце концов я решил, что это вовсе не лицо, а искусно выполненная маска. Старик написал, что нужно немного подождать, а потом меня отведут на праздник.

Указав на табурет возле стола с грудой книг, он вышел из комнаты. Я сел и принялся рассматривать книги. Среди них мне попались омерзительная «Демонолатрия» Ремигия и неопикуемый «Некрономикон» безумного араба Абдулы Альхазреда – книга, которой я до сих пор не видел, но о которой многожды слышал (и, надо признать, отзывы были не слишком лестными). Со мной никто не заговаривал... Если честно, во всем этом – книгах, комнате, людях – ощущалось нечто нездоровое, тревожное; однако в город моих предков меня привел стародавний обычай, а потому я не должен был ничему удивляться. Я попробовал почитать и вскоре с головой ушел в богомерзкий «Некрономикон», содержание которого было поистине отвратительным для любого человека в здравом уме и твердой памяти... Затянувшееся ожидание действовало на нервы, а книга в руках усиливала беспокойство. Когда старинные часы пробили одиннадцать, вернулся старик. Он подошел к большому резному шкафу и извлек оттуда два плаща с капюшонами. Один надел сам, второй накинул на старуху и направился к двери, поманив меня за собой.

Мы вышли в безлунную ночь. Огни в занавешенных окнах гасли один за другим. Сириус ухмылялся в вышине, взирая на фигуры в плащах, что выстраивались в вереницы и маршировали мимо скрипучих вывесок и допотопных фронтонов, по переулкам, где громоздились друг на друга развалины, по площадям, по церковным дворам, на которых огоньки фонарей вдруг превращались в призрачные подобию небесных созвездий.

Я следовал за своим безмолвным проводником, меня толкали и пихали. Я не видел ни единого лица, не слышал ни единого слова. Вверх, вверх, вверх – по крутым извилистым улочкам; я заметил, что люди со всех сторон стекаются к месту, которое являлось как бы фокусом улиц и переулков, – на вершину высокого холма в центре города. На холме стояла устремленная в небо белая церковь, которую я различил еще с дороги, когда смотрел на сумеречный Кингспорт. Над кладбищем на церковном дворе мельтешили голубые искорки, открывая взору печальные ряды надгробий. Над гаванью мерцали звезды, а город словно растворился во мраке, лишь изредка мигали на улицах фонари – это торопились догнать процессию, которая уже вползала в церковь, немногочисленные опоздавшие. Переступив за стариком порог, я обернулся, чтобы бросить последний взгляд на церковный двор, обернулся – и вздрогнул. Мне почудилось, будто на снегу не осталось ничьих следов, даже моих собственных.

Когда мои глаза привыкли к царившему в церкви полумраку, я рассмотрел, что фигуры в плащах одна за другой исчезают в раскрытом люке перед кафедрой проповедника. Следом за ними я спустился в подземелье. Впереди маячил хвост зловещей процессии, которая теперь вызывала у меня ужас. Участники неведомого обряда миновали ветхий склеп и направились к отверстию в каменном полу. Дождавшись своей очереди, я ступил на первую ступеньку винтовой лестницы. Со стен колодца капало, иногда сыпалась каменная крошка, воздух был спертый и отдавал гнилью. Спуск проходил в молчании. Больше всего меня тревожило то, что не слышалось ни шороха, что невозможно было уловить ни малейшего признака эха.

Вонь сделалась почти невыносимой. Тут впереди замерцал свет, и я услышал, как плещется вода. Меня снова пробрала дрожь, ибо ночные события нравились мне все меньше и меньше. Я горько пожалел о том, что внял наказу предков и явился в Кингспорт. Стены колодца разошлись, и я различил иной звук – тонкий, визгливый голосок свирели. Внезапно передо мной словно распахнулся занавес: я увидел, что нахожусь в обширной пещере. Моим глазам предстал столб тошнотворно-зеленого пламени на усеянном губками берегу маслянистой реки, что вытекала из черной бездны и впадала в вековечный океан Тьмы.

Фигуры в плащах образовали полукруг у огненного столба. Они готовились совершить старинный обряд, древностью превосходивший человеческий род и обреченный его пережить. Я видел, как они совершали этот обряд, как поклонялись зеленому пламени и пригоршнями швыряли в воду губки. Я лицезрел бесформенное существо, восседавшее чуть в сторонке и игравшее на свирели, к стенаниям которой примешивался глухой, зловещий клекот. Особенно сильно меня пугал огненный столб: пламя вырывалось из бездны, оно не отбрасывало тени; тепла от него не исходило, оно сулило лишь разрушение и смерть.

Старик, который привел меня сюда, подал знак дудочнику, и тот завел новую мелодию. Музыка повергла меня в неопикуемый ужас. Я вжался в камень, ибо меня охватил страх, подобного которому испытать под луной просто невозможно; этот страх знаком лишь тем, кто бывал в холодных промежутках между звездами.

Неожиданно из неведомых глубин, что порождали тошнотворное пламя, из пучины, что принимала в себя маслянистые воды реки, появились, ритмично взмахивая крыльями, твари, один вид которых мог кого угодно свести с ума. Рассудок отказывался воспринимать их как живых существ. В них было что-то от ворон – и от кротов, от канюков, летучих мышей и муравьев... Словом, они выглядели, как... Нет! Не хочу! Я не должен вспоминать! Они кружили над нами, поочередно садились на берег, ждали, когда им на спины заберутся фигуры в плащах, и улетали вдоль по течению реки.

Старик жестом пригласил меня последовать примеру других. Я увидел, что дудочник

куда-то исчез, а неподалеку переминаются с лапы на лапу две крылатые твари – видимо, они дожидались нас со стариком. Между тем старик написал на дощечке, что обряд необходимо завершить, а когда я не пошевелился – извлек из складок одежды наши семейные реликвии: перстень с печаткой и часы, как бы напоминая мне, зачем я здесь.

Крылатые твари в нетерпении царапали когтями лишайник на камнях; старик, судя по всему, тоже торопился. Одна из тварей попятилась к воде. Он повернулся к ней, чтобы остановить. От резкого движения капюшон слетел у него с головы, а восковая маска, скрывавшая лицо, упала на берег. И я бросился в подземную реку, нырнул в гнилостные испражнения земли прежде, чем мои истошные вопли созвали на берег тех, кто населял недра планеты.

В больнице мне рассказали, что меня нашли на рассвете в гавани Кингспорта. Я цеплялся за деревянный брус и был едва жив. По всей видимости, в темноте я сбился с пути, свернул на развилке не в ту сторону и упал с обрыва в море. Мне нечего было возразить, хотя я знал, что врачи ошибаются... Потом меня перевели в клинику Святой Марии в Аркхеме, где уход за больными был лучше. Тамашние врачи отличались широтой взглядов; они даже раздобыли для меня экземпляр «Некрономикона» из библиотеки местного университета. Я прочел одну главу – и задрожал от страха, ибо читал ее не впервые. Я видел эту книгу раньше, а где – о том лучше забыть.

Меня преследовали кошмары, в которых звучали цитаты из «Некрономикона». Я не смею их повторить... Нет! Ну разве что один отрывок...

«Глубин иного мира, – пишет безумный араб, – не измерить взором, их чудеса поистине диковинны и внушают трепет. Проклята земля, где мертвые оживают и обретают тела, зол разум, который лишен пристанища... Из гноя восстает омерзительная жизнь, грубые стервятники терзают ее и раздуваются, чтобы поглотить. В земных недрах прорыты длинные ходы; твари, рожденные ползать, научились бегать».

1925

Храм

Рукопись, найденная на побережье Юкатана

Двадцатого августа 1917 года я, Карл-Генрих, граф фон Альтберг-Эренштейн, командор-лейтенант военно-морского флота Германской империи, вверяю эту бутылку и записи Атлантическому океану в месте, точные координаты которого мне неизвестны; это примерно 20 градусов северной широты и 35 градусов западной долготы, где на океанском дне беспомощно лежит мой корабль. Я поступаю так в силу желания сообщить другим некоторые необычные факты; нет шансов, что сам я выживу и смогу рассказать об этом, потому что обстоятельства как крайне необычайны, так и угрожающи, – я имею в виду не только безнадежное повреждение лодки U-29, но и катастрофическое ослабление моей немецкой железной воли.

В полдень восемнадцатого июня, как было доложено по радио U-61, идущей в Киль, мы торпедировали британское транспортное судно «Виктори», шедшее из Нью-Йорка в Ливерпуль, в месте с координатами 45°16' северной широты, 28°34' западной долготы; мы позволили экипажу покинуть корабль, который тонул очень эффектно: сначала ушла под воду корма, нос высоко поднялся из воды, а корпус погружался перпендикулярно дну. Наша кинокамера ничего не пропустила, и я сожалею, что эти прекрасные кадры никогда не попадут в Берлин. После этого мы потопили шлюпки из наших орудий и ушли под воду.

Когда мы перед закатом всплыли, на палубе оказалось тело матроса: его руки каким-то образом вцепились в поручни. Бедняга был молод, довольно смугл и вполне красив: скорее всего, итальянец или грек – без сомнения, из экипажа «Виктори». Очевидно, он искал спасения на корабле, которому пришлось уничтожить то судно, на котором он плыл, –

очередная жертва грязной войны, развязанной этими псами, английскими свиньями, против нашей отчизны. Мои матросы обыскали его на предмет сувениров и нашли в кармане куртки очень странную фигурку из слоновой кости: резная голова юноши в лавровом венке. Мой ближайший помощник, лейтенант Кленце, решил, что вещь эта древняя и представляет художественную ценность, поэтому забрал ее себе. Как она могла оказаться у простого матроса – ни он, ни я представить не могли.

Когда тело выкидывали за борт, произошло нечто необычное, серьезно взволновавшее команду. Глаза трупа были закрыты; однако когда его волокли к перилам, они распахнулись, и многим показалось, что они пристально и насмешливо посмотрели на Шмидта и Циммера, склонившихся в тот момент над телом. Боцман Мюллер, человек уже в возрасте, мог бы повести себя и поразумнее, хотя и был полным предрассудков эльзасским свинопасом; его настолько потряс этот взгляд, что он продолжал следить за телом, упавшим в воду, и клялся, что когда оно погрузилось, то расправило члены, приняв позу пловца, и направилось под волнами на юг. Мне и Кленце не понравились эти проявления крестьянского невежества, и мы устроили выволочку команде, особенно Мюллеру.

На следующий день случилось новая неприятность – заболели несколько членов команды. Судя по всему, последствия нервного перенапряжения в длительном плавании и плохого сна. Некоторые из заболевших выглядели рассеянными и подавленными; удостоверившись, что они не симулируют, я освободил их от вахты. Море было беспокойным, поэтому мы погрузились: на глубине волнение не так заметно. Люди тоже стали несколько поспокойнее, несмотря на какое-то странное южное течение, которого не было на наших океанографических картах. Стоны больных были решительно несносны: но пока это не сказывалось на боевом духе команды, мы не принимали решительных мер. Мы планировали дожидаться в этих водах лайнера «Дакия», упоминавшегося в донесении агентов из Нью-Йорка.

Под вечер мы всплыли, волнение на море успокоилось. На севере виднелся дым из труб эскадры, но расстояние и способность погружаться обеспечивали нашу безопасность. Куда большее беспокойство вызывала болтовня боцмана Мюллера, который к утру стал почти невменяемым. Он впал в ребячество, слушать которое было противно, городил чепуху о мертвецах, плавающих за бортом и глядящих на него через иллюминатор, и что он узнал в них тех, кто погиб в результате наших славных боевых операций. Предводительствовал ими, по его словам, тот юноша, которого мы нашли и вышвырнули за борт. Это было очень мрачно и нездорово, поэтому мы решили приковать Мюллера и устроить ему хорошую порку. Команда не порадовалась его наказанию, но дисциплину нужно поддерживать. Также мы отклонили просьбу делегации, возглавляемой матросом Циммером, чтобы фигурка из слоновой кости была выброшена за борт.

Двадцатого июня заболевшие накануне матросы Бем и Шмидт стали вести себя буйно. К великому сожалению, в состав экипажей субмарин не входят врачи, хотя речь ведь идет о жизнях немцев; но нескончаемые вопли и причитания этих двоих о нависшем над нами ужасном проклятии настолько пагубно влияли на дисциплину, что пришлось применить к ним крутые меры. Команда восприняла это с угрюмым молчанием, зато на Мюллера, похоже, это подействовало успокаивающе и больше он не доставлял нам хлопот. Вечером его освободили, и он без лишних слов вернулся к своим обязанностям.

Целую неделю мы все были на нервах, поджидая «Дакию». Напряженная обстановка усугубилась исчезновением Мюллера и Циммера, без сомнения, покончивших с собой из-за навязчивых страхов, хотя никто не видел, как они бросались за борт. Исчезновению Мюллера я был рад: даже просто его молчание влияло на команду неблагоприятно. Вся команда стала неразговорчивой, словно подавленная тайным страхом. Заболевших стало больше, но никто не доставлял хлопот. Лейтенант Кленце от постоянного напряжения стал выходить из себя по малейшему поводу: например, из-за дельфинов, собиравшихся вокруг U-29 целыми стаями, или из-за становившегося все сильнее южного течения, не значащегося на наших картах.

Наконец стало понятно, что «Дакию» мы упустили. Подобные неудачи случаются, но мы испытывали скорее облегчение, чем досаду, ведь теперь нам предстояло возвращение в Вильгельмсхафен. В полдень двадцать восьмого июня мы повернули на север и, несмотря на курьезные затруднения, связанные с необычайно большим скоплением дельфинов, погрузились и легли на курс.

Взрыв в машинном отделении в два часа ночи оказался полной неожиданностью. Никаких проблем с работой машин или с персоналом отмечено не было, и все же корабль потрянуло жутким ударом. Лейтенант Кленце помчался в машинное и обнаружил, что топливные цистерны повреждены, двигатель почти весь разворочен, а механики Шнайдер и Раабе погибли. Наше положение внезапно стало критическим: хотя химические регенераторы воздуха остались целы и мы могли всплывать и погружаться, поскольку действовали насосы и оставались заряженными аккумуляторы, двигаться лодка не могла. Спасаться на шлюпках означало отдать себя на милость врага, испытывающего необъяснимую злобу и ненависть к нашей великой германской нации, а беспроводная связь молчала с тех пор, как перед атакой на «Виктори» мы связывались с подводной лодкой флота Германской империи.

С момента аварии до второго июля мы постепенно дрейфовали на юг – без карт, не встречая судов. Вокруг U-29 кружили дельфины – примечательное обстоятельство, принимая во внимание расстояние до ближайшего берега. Утром второго июля мы засекли военное судно под американским флагом, и вся команда настойчиво требовала, чтобы мы сдались им. В итоге лейтенанту Кленце пришлось застрелить матроса Траубе, особенно настойчиво призывавшего к этому антигерманскому акту. Это уредило команду на некоторое время, и мы незамеченными ушли под воду.

На следующий день с юга прилетела огромная стая морских птиц, и океан начал становиться беспокойным. Мы пережидали непогоду, задревая люки, пока не поняли, что следует погрузиться, чтобы огромные волны не перевернули лодку. Мы старались экономно расходовать сжатый воздух и заряд аккумуляторов, но сейчас выбора не было. Мы погрузились неглубоко, и когда по прошествии нескольких часов море успокоилось, решили снова всплыть. Однако возникла новая неприятность: лодка отказалась всплывать, несмотря на все усилия механиков. Команду беспокоило это подводное заточение, и некоторые снова припомнили резную фигурку лейтенанта Кленце, но вид автоматического пистолета успокоил их. Мы старались занять чем-то наших людей, возились с механизмами, хотя знали, что это бесполезно.

Мы с Кленце обычно спали по очереди; четвертого июня около пяти часов утра, когда я спал, вспыхнул бунт. Шестеро ублюдков, зовущих себя моряками, полагая, будто застали нас врасплох, с внезапной яростью пытались отомстить нам за отказ сдаться военному кораблю янки два дня назад. Рыча как звери – каковыми по сути и были, – матросы крушили приборы и мебель, выкрикивая всякую чушь и проклятия костяному амулету и смуглому мертвецу, что проклял нас и уплыл. Лейтенант Кленце оказался словно парализован и не решался действовать, проявив худшие черты мягких женоподобных выходцев из Рейнской области. Я застрелил всех шестерых – этого требовали обстоятельства, – после чего лично удостоверился в смерти каждого.

Мы выбросили трупы через торпедный аппарат и остались на U-29 вдвоем. Лейтенант Кленце нервничал и беспорядочно пил. Нами было принято решение, что мы постараемся прожить как можно дольше, благодаря большому запасу продовольствия и регенераторам воздуха, ни один из которых не пострадал от рук этих грязных скотов. Наши компасы, глубиномеры и другие хрупкие приборы оказались разбиты; теперь мы могли только приблизительно определять свое местоположение, используя часы и календарь и оценивая дрейф по предметам, видимым через иллюминаторы. К счастью, у нас были батареи большой емкости, их должно было хватить для внутреннего освещения и для прожекторов на долгий срок. Мы периодические включали внешнее освещение, но видели только дельфинов, плывущих параллельно нашему курсу. Эти дельфины вызывали у меня научный интерес:

обычный *Delphinus delphis* – подобное киту млекопитающее, неспособное долго оставаться без воздуха; я же следил за одним из них около двух часов, и за это время он ни разу не поднялся на поверхность.

Прошло много дней, но мы с Кленце решили, что по-прежнему плывем на юг, погружаясь все глубже и глубже. Мы наблюдали за окружающей нас океанской флорой и фауной и читали книги на эту тему, захваченные мною ради редких свободных минут. При этом я не мог не обратить внимания на низкий интеллектуальный уровень моего товарища. К тому же у него был не прусский склад мышления и подверженность бесполезной игре ума и нездоровому воображению. Неминуемость нашей грядущей смерти любопытно подействовала на него: он стал часто молиться в раскаянии за всех мужчин, женщин и детей, которых отправил на дно, забыв о том, что все, послужившее делу германской нации, достойно всяческого одобрения. Постепенно он становился все более несдержанным, иногда часами глядел на костяную фигурку и плел фантастические истории о затерянных и бесследно исчезнувших в море. Иногда, в качестве психологического эксперимента, я сам наводил его на эту тему и выслушивал бесконечные выдержки из поэзии и рассказов о затонувших судах. Мне было жаль его, и не хотелось видеть, как страдает немец, но он был не тем человеком, с которым легко встречать смерть. Своим же поведением я гордился, зная, что отчизна почтит мою память и мои сыновья будут брать с меня пример.

Девятого августа мы заметили океанское дно и направили на него мощный луч прожектора. Это оказалось просторная холмистая равнина, заросшая водорослями и колониями моллюсков. Там и тут виднелись покачивающиеся предметы неопределенных очертаний, обросшие водорослями и ракушками, про которые Кленце сказал, что это останки древних затонувших кораблей. Но вот что его удивило: нечто прямоугольных очертаний, выступающее над дном фута на четыре, со сторонами в два фута, гладкими, ровными, с ровной плоской вершиной. Я счел это причудливым выступом скалы, но Кленце уверял, что заметил на нем барельеф. Спустя некоторое время его стала бить нервная дрожь, и он отвернулся от иллюминатора, будто напуганный, но не смог объяснить, чем; думаю, он был поражен громадностью, мрачностью, древностью и загадочностью океанской бездны. Испытание оказалось чрезмерным для его рассудка; но я, более типичный немец, заметил два обстоятельства: что U-29 превосходно выдерживает давление и что странные дельфины по-прежнему с нами, хотя возможность существования высших организмов на таких глубинах отрицается большинством биологов. Возможно, я переоценил глубину, но она была без сомнения достаточной, чтобы счесть наблюдаемое необычным. Проверив скорость дрейфа к югу по ориентирам на дне, я убедился, что она в пределах рассчитанных мною параметров.

Двенадцатого августа в 3:15 несчастный Кленце спятил окончательно. Он сидел в рубке и светил прожектором, но затем вдруг ворвался в мою каюту, где я спокойно читал книгу, и лицо сразу выдало его. Я записываю здесь сказанное им, выделяя те слова, которые он подчеркивал голосом: «Он зовет! Он зовет! Я слышу *Ego!* Мы должны идти!» Выкрикивая это, он схватил со стола резную фигурку, спрятал ее в карман и ухватил меня за руку, намереваясь потащить из каюты на палубу. В этот момент я сообразил, что он собирается открыть люки и выбраться за борт вместе со мной – вспышка само- и просто убийственной мании, от которой я растерялся. Когда я вырвался и попытался урезонить его, он стал действовать настойчивее, приговаривая: «Идем прямо сейчас... не надо ждать, когда станет поздно; лучше покаяться и получить прощение, чем упорствовать и стать проклятым!» Тогда я попытался применить противоположную тактику: сказал ему, что он обезумел, – этому жалкому ничтожеству. Но он был непреклонен и воскликнул: «Если я обезумел, то это милость! Да сжалятся боги над тем человеком, который сможет сохранить рассудок до самого жуткого конца! Идем, и еще не поздно сойти с ума, пока *Он* призывает, будучи склонным к милости!»

После этой вспышки красноречия в его голове словно бы немного прояснилось; после нее он стал мягче и попросил у меня разрешения уйти одному, если уж я отказываюсь идти с

ним. Мне стало очевидным, как следует поступить. Он был немцем, но всего лишь рейнландцем и плебеем, и к тому же стал потенциально опасен. Уступив его самоубийственной просьбе, я избавлялся от того, кто был уже не товарищем, а угрозой. Я попросил его не уносить с собой фигурку, но это вызвало у него приступ такого жуткого смеха, что я не решился повторять просьбу. Затем я поинтересовался, не хочет ли оставить хотя бы прядь волос на память для своей семьи в Германии, на случай, если я спасусь, но услышал лишь тот же жуткий смех. Итак, он поднялся по трапу в шлюзовую камеру, я подошел к рычагам и с положенными паузами совершил то, что обрекало его на смерть. Увидев, что он все же покинул лодку, я включил прожектор в попытке напоследок увидеть Кленце еще раз; меня интересовало, расплющило его давлением на такой глубине или тело осталось неповрежденным, как у этих необычных дельфинов. Но мне не удалось найти своего прежнего приятеля, ибо дельфины сбились плотной массой и загородили обзор.

Вечером я пожалел, что не забрал незаметно фигурку из кармана несчастного Кленце, потому что воспоминание о ней не давало мне покоя. Я не мог забыть прекрасную юношескую голову в венке из листьев, хотя по натуре я совсем не художник. Отсутствие собеседника навевало грусть. Пусть Кленце был и не ровня мне по интеллекту, но все же лучше, чем ничего. В ту ночь мне не спалось, я мог только размышлять о неминуемом конце. Шансы на спасение у меня были ничтожные.

На следующий день я, как обычно, поднялся в рубку и начал осмотр окрестностей с помощью прожектора. В северную сторону вид был точно такой же, как и за последние четыре дня, но я заметил, что дрейф U-29 замедлился. Направив луч на юг, я заметил, что океанское дно впереди идет под уклон, а местами заметны каменные блоки искусственного вида, расположенные как будто в какой-то системе. Океанское дно уходило вниз быстрее, чем погружалась лодка, и мне пришлось повозиться, чтобы направить прожектор вертикально вниз. От резкого поворота провода отсоединились, и ремонт занял у меня долгие минуты; наконец прожектор снова заработал, освещая подводную долину подо мной.

Эмоции не властны надо мной, но увиденное в электрическом свете вызвало сильное изумление. Хотя человеку, воспитанному в лучших традициях прусской культуры, не следовало изумляться, ибо как геология, так и традиция сообщают нам о великих смещениях участков морей и материков. Я увидел великое множество расставленных в каком-то сложном порядке разрушенных зданий величественной, но незнакомой мне архитектуры, разной степени сохранности. Большинство были, по-видимому, из мрамора, отблескивающего белизной в луче прожектора; общее расположение свидетельствовало, что когда-то это был огромный город на дне узкой долины, с бесчисленными отдельно стоящими храмами и виллами на пологих склонах. Крыши обрушились, колонны подломились, но дух незапамятно древнего величия ничто не могло уничтожить.

Оказавшись наконец над Атлантидой, которую прежде считал скорее мифом, я стал ее неутомимым исследователем. По углублению в этой долине когда-то пробегала река; изучая пейзаж внимательнее, я углядел остатки мраморных и каменных мостов, набережных, террас и пристаней, когда-то, видимо, утопавших в зелени и бывших прекрасными. Охваченный энтузиазмом, я дошел почти до такой же глупости и сентиментальности, как несчастный Кленце, и поздно заметил, что южное течение наконец утихло и теперь U-29 медленно опускался вниз, на затонувший город, как садятся на землю дирижабли. А кроме того, я запоздало отметил, что стая необычных дельфинов исчезла.

Часа через два лодка улеглась на каменной площади неподалеку от скалистой границы долины. С одной стороны мне был виден весь город, спускающийся от площади к прежнему руслу реки, с другой в удивительной близости возвышался богато украшенный и, похоже, совершенно целый фасад гигантского здания, очевидно, храма, вырубленного в утесе. Каких трудов стоило создать такое титаническое сооружение – я мог только догадываться. Невероятно широкий фасад явно скрывал уходящие далеко вглубь помещения, судя по множеству окон разного назначения. Посреди него зияла громадная открытая дверь, к которой вела поражающая воображение каменная лестница; по краям двери я заметил

искуснейшие барельефы на подобные вакхическим сюжеты. Над всем этим – громадные колонны и фризy, и те и другие украшены скульптурами невыразимой красоты; на них, похоже, представлены пасторальные сцены и шествия жрецов и жриц, несущих странные ритуальные предметы, поклоняясь сияющему божеству. Искусство феноменального совершенства, по виду напоминающее древнегреческое, но странно самостоятельное. Оно разрушает впечатление ужасной древности, кажется более современным, чем даже последователи древнегреческого искусства. Все это в целом, каждая деталь этой постройки ощущается как часть древнего скалистого основания нашей планеты. Не могу даже вообразить, как оно было вырублено. Возможно, каверна или серия пещер послужили основой. Ни время, ни долгое пребывание в воде не повредили религиозному величию жуткого храма – ибо это мог быть только храм, – и сейчас, спустя тысячи лет, он стоит нетронутый, неоскверненный, в бесконечной ночи и молчании океанской пучины.

Не могу оценить, сколько часов я провел, разглядывая затонувший город – его здания, арки, статуи, мосты и колоссальный храм, прекрасный и пугающий одновременно. Хотя я знал, что моя смерть близка, любопытство терзало меня, и я водил прожекторным лучом в нескончаемом поиске. Луч света позволял мне рассмотреть множество деталей, но оказывался неспособен высветить что-либо за распахнутой дверью скального храма; рассматривая его время от времени, я выключал ток, сознавая необходимость беречь энергию. Сейчас прожектор светил уже ощутимо слабее, чем в первые недели нашего дрейфа. Слово бы обостренное предстоящим расставанием с жизнью, мое желание узнать хранящиеся в океане тайны росло. Я, представитель великой Германии, буду первым, кто ступит в эти проходы, тысячелетиями пребывавшие в забвении.

Я достал и тщательно проверил металлический костюм для глубоководных погружений; попробовал пользоваться его переносной лампой и регенератором воздуха. Хотя справиться с двойным люком в одиночку очень сложно, я верил, что мои навыки ученого помогут преодолеть все препятствия и пройти по мертвому городу.

Шестнадцатого августа я осуществил выход из U-29 и прогулялся по разрушенным и заплывшим грязью улицам к ложу древней реки. Я не увидел скелетов или каких-либо других человеческих останков, но нашел множество бесценного с точки зрения археологии, от скульптур до монет. Невозможно передать на словах мою скорбь о культуре, пребывавшей в расцвете славы в те времена, когда по Европе бродили пещерные люди, а Нил нес свои воды мимо необитаемых берегов. Другие, пользуясь этими заметками как руководством – если их когда-нибудь найдут, – пусть представят перед человечеством величие, на которое я могу только намекать. Я вернулся в лодку, поскольку батареи начали садиться, приняв решение на следующий день исследовать пещерный храм.

Семнадцатого августа, когда я уже собирался отправиться к храму, меня постигло величайшее из разочарований: я обнаружил, что приборы, необходимые для перезарядки фонаря, пострадали от этих свиней в июньском бунте. Моя ярость была беспредельной, но немецкое здравомыслие не позволяло рисковать, вступая без необходимого снаряжения в непроглядную тьму, где могло оказаться логово неведомого науке морского чудовища или лабиринт, из запутанных ходов которого я никогда не выберусь. Все, что мне удалось сделать, – включить слабеющий прожектор U-29, в его свете подняться по ступеням и осмотреть наружные барельефы. Столб света упирался в проход почти снизу вверх, и разглядеть что-либо за пределами порога оказалось невозможно. Впрочем, не видно было и потолка; хотя я сделал пару шагов вовнутрь, осторожно проверяя пол, но дальше идти не посмел. Более того, впервые в жизни я испытывал ужас. Мне стали понятны причины некоторых фобий несчастного Кленце, потому что хотя храм притягивал меня все больше, по отношению к находящемуся в его глубине я испытывал слепой и все возрастающий ужас. Вернувшись в субмарину, я выключил свет и долго размышлял в темноте. Электричество следовало беречь для более важного.

Всю субботу, восемнадцатого, я провел в полной тьме, терзаемый мыслями и воспоминаниями, грозившими разесть мою немецкую выдержку. Кленце, звавший меня с

собой, обезумел и погиб прежде, чем достиг этих зловещих останков невообразимо далекого прошлого. Неужели и в самом деле судьба сохранила мне рассудок для того лишь, чтобы неодолимо увлекать к концу, более жуткому и немыслимому, чем в состоянии вообразить человек? Несомненно, эти рассуждения – последствия чрезмерного нервного напряжения, мне следует отвергнуть впечатления, возникшие ввиду временной ослабленности.

Всю субботнюю ночь я не спал и, не заботясь о будущем, включил свет. Мысль, что электричество иссякнет раньше воздуха и провизии, раздражала. Мои мысли вернулись к легкой, без мучений, смерти, и я осмотрел свой автоматический пистолет. Под утро я, должно быть, уснул при включенном свете, поскольку, проснувшись вчера среди дня, обнаружил, что батареи мертвы. Я истратил одну за другой несколько спичек и отчаянно сожалел о расточительности, с которой мы израсходовали недавно несколько имевшихся у нас свечей.

Когда последняя зажженная спичка погасла, я остался совершенно спокойно сидеть в темноте. Пока я размышлял о неминуемой смерти, мой разум просматривал все прежние события и выявил нечто странное, что обратило бы в ужас человека послабее и посувернее. *Голова светящегося божества на барельефах скального храма – точно такая же, как на резной фигурке, найденной у мертвого моряка, которую несчастный Кленце унес с собой в море.*

Я был озадачен таким совпадением, но не ужаснулся. Только слабому уму свойственно объяснять уникальное и сложное примитивным замыканием на сверхъестественном. Совпадение было странным, но я был слишком здравомыслящим, чтобы увязывать столь разрозненное или неким диким образом увязать в логическую цепочку события от случая с «Виктори» до моего нынешнего ужасного положения. Ощувив потребность в отдыхе, я принял успокоительное и поспал еще. Мое нервное состояние сказывалось и на снах: я слышал крики тонущих, видел мертвые лица, заглядывающие в иллюминаторы. Среди этих мертвых лиц было и одно живое – насмешливое лицо юноши с костяной фигурки.

Описывая мое сегодняшнее пробуждение, я сам отношусь к этому с осторожностью, потому что нервы у меня совершенно расстроены и видения смешиваются с фактами. Мой случай очень интересен для психологов, и очень жаль, что за ним не могли пронаблюдать компетентные немецкие специалисты. Открыв глаза, первым делом я ощутил непреодолимое желание посетить скальный храм; растущее с каждым мгновением, оно оказалось почти автоматически заблокированным чувством страха, сработавшим как тормоз. Вслед за этим почудилось свечение среди тьмы, мне показалось, что я увидел фосфоресцирующее сияние в воде, пробивавшееся через иллюминаторы, обращенные к храму. Это возбудило мое любопытство, ибо мне неведомы глубоководные организмы, способные испускать такое свечение.

Но прежде чем я успел всерьез этим заинтересоваться, появилось дополнительное ощущение, заставившее своей иррациональностью усомниться в объективности всего, что регистрировали чувства. Это была слуховая галлюцинация: ритмический, мелодичный звук какого-то варварского, но прекрасного, распеваемого хором гимна, проникающий откуда-то извне, сквозь абсолютно звуконепроницаемую оболочку U-29. Убежденный, что это признаки психического расстройства, я истратил несколько спичек и принял большую дозу раствора бромида натрия, который, похоже, успокоил меня до уровня отключения звуковой иллюзии. Но свечение осталось, и мне было трудно подавить желание подойти к иллюминатору, чтобы высматривать его источник. Оно было настолько реальным, что вскоре я смог распознавать знакомые предметы вокруг, видел даже пустой стакан из-под брома, а ведь я не помнил, куда его поставил. Последнее заинтересовало меня – я перешел каюту и ощупал стакан. Это был именно он. Теперь я знал, что свет или реален, или часть галлюцинации такой стойкой, что у меня нет шансов справиться с ней; поэтому, отказавшись от сопротивления, я поднялся в рубку – посмотреть, что же именно светит. Может, это другая подлодка, несущая шанс на спасение?..

Читателю лучше не принимать написанное здесь на веру, ибо когда события выходят за

рамки естественного порядка вещей, они неизбежно становятся субъективным и нереальным продуктом перенапряженного рассудка. Поднявшись в рубку, я нашел, что свечение в море вокруг куда меньше, чем следовало бы ожидать. Поблизости не оказалось никаких фосфоресцирующих растений или животных, и город, спускающийся к руслу реки, был окутан непроницаемым мраком. Увиденное не было гротескным или ужасающим, однако убрало последние опоры доверия моему сознанию. Вход и окна подводного храма, высеченного в скале, отчетливо горели мерцающим светом, будто от огромного жертвенного костра внутри.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.